



Год Гранина

Александр МЕЛИХОВ

МАРАФОНЕЦ

Воспоминание провинциального детства: мама стирает, а папа читает ей вслух Гранина «После свадьбы»...

Мне кажется, именно в провинции роль Гранина была особенно велика, — у столичной интеллигенции были и другие образцы художественной литературы, в том числе полузабытой и полуподпольной, — а лично для меня первой серьезной советской книгой был роман «Иду на грозу»: этот роман серьезно повлиял на выбор моего жизненного пути. Это был первый сигнал, что героизм не погиб вместе с Павлом Корчагиным и Олегом Кошевым, их наследниками сделались ученые. Они летают среди молний, они прыгают с парашютом, они покоряют красавиц, они обладают всеми классическими мужскими доблестями, но при этом еще и необыкновенно умны и остроумны.

Иными словами, Гранин один из первых и очень немногих пытался подтолкнуть нашу власть к развороту от романтики войны к романтике научно-технического творчества. К сожалению, наши идеологи прислушаться не пожелали, они не понимали, что такой огромной и не слишком процветающей стране нужен собственный фронт — сфера деятельности, расширяющая наши представления о человеческих возможностях, вовлекающая романтиков и авантюристов и порождающая у остальных

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенега.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квизимодо» (2017).

гордость за причастность к их подвигам. Угасание же этой гордости порождает своего рода эстетический авитаминоз, сделавшийся одной из важнейших причин распада Советского Союза, — мы перестали ощущать себя красивыми в его декорациях.

Однако Гранин по мере сил противостоял этому авитаминозу и серьезнейшим образом повлиял на все мое поколение. Именно поэтому я не мог избавиться от робости перед ним, даже когда между нами установились, мне кажется, очень теплые отношения. По крайней мере, когда я ему звонил, он всегда говорил растроганно: «Как это приятно!», хотя уж вниманием-то он был никак не обделен. Но мне кажется, он видел, что я испытываю к нему не обычное почтение, с которым к нему относились решительно все, но что-то вроде сыновних чувств: тебя, как первую любовь...

И это была не только благодарность за открытие нового мира — мира ученых, это было еще и сострадание и благодарность к одному из последних могикан того поколения, на долю которого выпали ужаснейшие испытания и которое до сих пор пытаются объявить поколением сталинских рабов. В сравнительно полном объеме я выразил эти чувства в романе «И нет им воздаяния», а самому Даниилу Александровичу я их выразить так и не посмел — не решился заговаривать с ним на личные темы. Я даже невольно вставал со стула, когда говорил с ним по телефону.

А он однажды посетовал, что к нему приходят и звонят в основном по каким-то делам, а просто поболтать заходят редко. «Вас же все побаиваются», — сказал я ему, и он усмехнулся: «Это даже лестно. А что мне сделать, чтобы меня не боялись?» — он спрашивал с улыбкой, но не совсем шутя. «Не нужно быть классиком», — ответил я, тоже не совсем шутя.

Это правда, писатели, которых узнаешь в романтической юности, навсегда остаются такими олимпийцами, что уже никогда решаешься заговорить с ними по-человечески. Хотя понимаешь, что и они всего лишь люди, что и они, как и все мы, нуждаются не только в уважении, но и в тепле. Однако не знаю, много ли тепла получал Гранин за пределами семейного круга.

Мои сомнения на этот счет лишь укрепила основательная (и роскошно изданная) книга «О Данииле Гранине: Воспоминания» / Составление М. Д. Чернышевой-Граниной. Предисловия М. Д. Чернышевой-Граниной и А. Ю. Маниловой (СПб.: Вита Нова, 2019). О социальной личности Гранина там много интересных сведений, но трогательно-человеческих его черт, которые только и могут к почтению или даже благоговению присоединить любовь, очень мало. Даже его многолетний приятель-физик больше рассказывает о том, что Гранин одобрительно отзывался о реформах Гайдара, а он, рассказчик, неодобрительно, и Гранин в конце концов убедился в его правоте, когда ощутил всеобщее обеднение и на своем семействе. Старый друг, похоже, не понял, что для Гранина личные неурядицы не могли служить критерием правильности или неправильности государственной политики. Гранин показал себя даже и лучшим ученым, чем физико-математический доктор, — он понимал, что нельзя говорить о правоте и неправоте там, где нет возможности провести решающий эксперимент — прожить те же самые годы еще раз при какой-то иной, не гайдаровской политике. Я думаю, именно научная добросовестность не позволяла Гранину занимать радикальную позицию в вопросах, любое решение которых влечет к непредсказуемым последствиям, — оттого он и не мог быть ни правоверным партийцем, ни правоверным диссидентом, куда в виде комплимента пытается определить его друг. В книге «Д. А. Гранин и молодежь: университетские тексты» (сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. — СПб.: СПбГУП, 2018) Гранин прямо говорит: «Я писатель, а не политик. Не считаю для себя допустимым говорить о том, чего не знаю точно». (Для политиков, стало быть, говорить, чего не знаешь, дело допустимое.) И еще: «Диссидентство для меня не входило

в литературную необходимость, когда я, скажем, писал „Иду на грозу“ или „Картину“. Но когда я писал „Зубр“, сама вещь была диссидентской. Она вызвала шквал критики со стороны журналов „Молодая гвардия“, „Наш современник“ и им подобных». Вот это уже ближе к сути — конфликт не с властью, а с идеологами иного направления. Не политический, а идейный, уже два века присущий российской литературе.

Политических иллюзий Гранин не имел уже давно: «Что может решить фигура нового президента, если нет никакой альтернативной программы?» («Д. А. Гранин и молодежь: университетские тексты»). Единственное, в чем Гранин был уверен и что повторял все последние годы: ценности сводить к ценам — путь не только антиэстетичный, но и гибельный, единственное, что нас объединяет и вызывает уважение к нам, это наша культура, но именно ее-то наша власть вспоминает в последнюю очередь. Это и есть главное расхождение литературы и власти — ценностное.

Однако ценности, цены, культура — все это из области социальной, а на личные темы мне удалось разговорить Даниила Александровича лишь один-единственный раз. Этот диалог вошел в книгу воспоминаний, но я хочу привести хотя бы некоторые фрагменты — чем больше читателей с ними познакомятся, тем более человечным останется образ Гранина в общественной памяти. Боюсь, фрагментов такого рода во всей «граниниане» наберется очень немного — похоже, Даниил Александрович и впрямь был очень закрытым человеком.

«Мне кажется, что литература, поэзия родились как песня, как желание спеть что-то такое в адрес удивительного чувства, которое рождалось в человеке, чувства привязанности, чувства любви к детенышу своему, чувства любви мужчины и женщины, чувства любого восхищения перед красотой мира. Было желание спеть, спеть благодарность, это чувство выплескивалось из человека, оно фонтанировало, оно не обязательно вербальных требовало выходов, но оно... хотелось просто... в виде музыки, в виде песни без слов, в виде молитвы. Это чувство восторга любви, и это порождало поэзию, порождало музыку, может быть, в какой-то мере и живопись, не знаю. И лучшее из того, что оно создавало, доходило до нас в виде стихов, в виде каких-то драм. Это было рождение литературы».

«Почему любовь может занимать такое важное место в жизни человека? Потому что в любви человек становится гораздо выше себя, он поднимается над собой, над всеми своими другими страстями и привязанностями, даже мечтами и так далее. Потому что любовь — она проявление бескорыстия и жертвенности, в ней всегда есть это удивительное».

«Если действительно любовь — это и есть Бог, то соприкосновение с этим Космосом — оно помогает человеку понять и жизнь, и его красоту».

«Хочу сказать, что любовь — это лучшее изобретение человечества. Оно появилось не сразу. Когда Адама и Еву изгнали из рая, они ощущали не любовь друг к другу, а потерю любви Бога к ним, вот что было бедой. Я думаю, что если человек не любил, он не видел себя, он не жил. Громко, может быть, сказано, но действительно, он не раскрыл для самого себя всех возможностей своей души, не увидел эту душу, не соприкоснулся с ней, только любовь дает возможность получить радость от самопожертвования, получить радость просто от созерцания другого, любимого человека, когда забываешь о том, красив он или не красив, когда рука его или глаза его уже так прекрасны, что ничто остальное не может сравниться. Наслаждение красотой, совершенством другого человека, пусть то будет женщина, пусть то будет ребенок, это, конечно, то, что дает любовь. А если любви не было, то этого наслаждения не было. А что было? А что было взамен? Да, мы знаем, взамен была карьера, успех, путешествия, приобретение новых квартир, автомобиля, костюмов... Ну и что?»

Это ведь такие небольшие радости, и такие временные, и такие смешные, коротенькие.

И вот сейчас, к концу жизни, я понимаю, написал тридцать книг, или тридцать две, или тридцать пять — ну и что? А я вспоминаю не это, я уже забыл про эти книги, а я вспоминаю людей, которых я любил, с которыми чувствовал себя совершенно счастливым, про это счастье любви я вспоминаю, как я был несчастен и как я мучился, когда наступал какой-то разрыв отношений. Я не вспоминаю о том, как у меня не получалась какая-то фраза, — да, это тоже было, но это ничто, ведь все познается в сравнении, есть весы.

Главный недостаток нашего общества — это дефицит любви. Дефицит любви друг к другу, дефицит культа любви, культа человеческой любви, потому что любовь, только любовь рождает уважение к человеку, понимание, какое это чудо — человек. Видно, каким красивым может быть человек, каким хорошим может быть человек. А когда человек существует как функция труда, исполнения каких-то обязанностей своих, как электорат, как демографическая единица и так далее... Вы смотрите, как мы существуем, мы существуем только в этой шкале измерений!»

«Любовь Дон Кихота — это любовь к образу, который он создал, но образ, который он создал себе, делает из Дон Кихота нечто, он поднимается настолько, что становится сам человеком достойным любви».

«Вот я, допустим, вспоминаю военное время. Желание удовлетворить свои мужские потребности совершенно резко отделилось от любви, то есть, оказалось, это совершенно разные вещи. И это удовлетворение мужской потребности происходило так, что не запоминалась эта женщина, и никакого интереса последующего она не вызывала, это была физиология. И было наоборот, и было так, что вспоминалась женщина, которой даже не обладал, о которой мечтал и которая снилась, и которой писались письма влюбленные. Но когда возвращались домой, или когда была на фронте любовь, фронтовая любовь, да и после фронта я наблюдал, и я на себе знаю, что любовь, конечно, делала обычную женщину красавицей для меня, ДЛЯ МЕНЯ, хотя внешне для других она оставалась, может быть, какой-то серенькой или невзрачным человеком. Вот что делает любовь».

— Вы так хорошо это понимаете, — не выдержал я, — а почему же вы не написали об этом — вот об этом опыте?

— Как мог, я писал об этом, но, знаете, я не хотел устраивать душевный стриптиз.

— Мне кажется, то, в чем нам не хочется признаваться, и есть самое интересное.

— Вот я вам приведу пример, который был у меня. Мы уходили, отступали, где-то в районе Луги, еще часа через два-три мы должны были уходить, уже собирались. Ко мне подошла девушка и говорит: «Немцы придут, я не хочу, чтобы я досталась немцам, я девушка, еще забеременею от них, я хочу принадлежать своим, вам». Довольно откровенно, действительно, она с трудом решилась на это, такая славная девушка. Я не мог решиться на это, хотя вроде бы не был невинным уже весьма, и она как женщина, даже как девица представляла интерес. Но я не мог решиться, потому что она была девушка, потому что я представил себе — ребенок будет, я погибну, а то, что я погибну, конечно, я думал наверняка. А что же, я так воспользуюсь этим? Нет. Я ей отказал. Она зарыдала. Я: «Это нехорошо, это нехорошо». Она: «На что же вы меня оставляете?» Мы ушли. И я долго потом как-то решал для себя, правильно ли я поступил или неправильно? Что это было? Или, потом я думал, гуманно это или негуманно? Кто прав из нас? Вот такие ловушки расставляет жизнь...

Не знаю, как для вас, но для меня это был совершенно новый Гранин.

А в блокадной теме он достиг пика откровенности в своем триумфальном выступлении в бундестаге. Потом он мне рассказывал, что до последней минуты колебался, пощадить немецких слушателей или врезать им правду-матку. И в последний момент решил: а пусть послушают! И рассказал, как мать кормила старшую девочку супом из кусочков мяса, которые она отрезала от замороженного трупика ее младшей сестренки. Рассказал, как весной люди черпали воду из Невы, отталкивая пльвущие по воде трупы. Но в итоге история блокады для него все равно была не историей людоедства и утраты безразличности, а историей совести: спасались те, кто спасал других.

И ему аплодировали стоя.

Вот что еще помимо прочего дает долгая жизнь — человек становится представителем ушедших поколений, его голосом начинает говорить сама история.

Если, конечно, он был вписан в историю так, как в нее был вписан Даниил Гранин.

И в военной теме Гранин возвысился до нового уровня откровенности тоже в последние годы своего долгожительства. Лирический герой «Моего лейтенанта» предстает то наивным петушком, рвущимся на фронт в тайной уверенности, что это будет недолгое победоносное приключение, то перепуганным ребенком, после первой бомбежки срывающимся в рыдания от ласкового слова и получающим за это от командира по морде. А после годами сгорающим от стыда за смрад своей трусости: «Война войнает мочой». Но именно из-за того, что герой-рассказчик ничуть не приукрашивает себя, мы и проникаемся к нему состраданием и доверием — и продолжаем верить, когда происходит постепенное превращение перепуганного пацана в солдата.

Понимающего, что убить его не так-то просто, если он сумеет не потерять голову от ужаса. Начинающего догадываться, что он и сам способен внушать страх противнику. И постепенно проникающегося к врагу смертельной ненавистью, страстно желая уже не просто изгнать его из пределов своего государства, но именно убить.

Василий Гроссман в его лучшем романе «Жизнь и судьба» все же довольно ученически воспроизводит схему «Войны и мира»: неодолимое сопротивление русских при Бородине сбивает с Наполеона спесь сверхчеловечества, и он начинает понимать, что в него тоже может попасть ядро, что из леса может выскочить отряд казаков — и он впервые со страхом смотрит на тела убитых, — а Гитлер, ощутив свое бессилие в Сталинграде, начинает бояться, что ему может выстрелить в спину каждый часовой, и со страхом вспоминает технические устройства для уничтожения людей, которые только что обсуждал со сверхчеловеческим спокойствием. Гроссман тоже усматривает источник воинской доблести в чувстве «мы»: когда «мы» распадается на отдельные «я», распадается и воинский дух армии. Однако Гранин рисует картину полного разгрома и распада армии на группы измотанных одиночек, которые, блуждая по лесам, встречают обгорелого майора с лиловыми щеками в пузырях, и этот майор не собирается заканчивать войну, хоть бы немцы уже взяли и Москву. Никакого «мы» уже нет, но абсолютно безо всякого приказа сверху майор собирает осколки разбитой армии и намеревается разрушать тыловые немецкие коммуникации, а там видно будет. Один из ополченцев высказывает штатское одобрение типа «разумное предложение», и командир гаркает: «Это не предложение, это приказ!»

Это иллюстрация той передовой доктрины, что войну выиграла заградотряды, — что же они не остановили армию на государственной границе? Армия тоже вооружена, между прочим. В «Моем лейтенанте» есть еще одна сцена, демонстрирующая, легко ли запугать вооруженную массу, ведущую борьбу со смертью. Уже в Пушкине милиционер в белоснежной гимнастерке требует от офицеров подтянуть бойцов, каждый из которых лишь каким-то личным чудом выбрался из окружения, и даже грозит:

а то-де мы сами наведем порядок, — и через час герой книги уже видит его застреленным вместе с напарником.

И все-таки главный удар остервенения направлен против немцев. А также против тех, кто попытается стать на пути у этой ярости, увы, не всегда благородной.

Бойцы собираются держать оборону в ослепительном царскосельском дворце, и возмущенный старичок смотритель пытается их вытурить, указывая на царапины на великолепном паркете. Но младший лейтенант Осадчий срывает с плеча автомат и дает очередь по зеркалам, по лепнине, по зеркальному паркету: для кого бережешь, для немцев?! Еще вчера этот же самый младший лейтенант в войлочных тапочках почтительно разглядывал бы эти же самые зеркала и эту же самую лепнину, почтительно внимая рассказам экскурсовода, а сегодня он запросто готов убить этого экскурсовода за один только намек, что не все должно быть подчинено нуждам войны.

Это к вопросу о том, нельзя ли было выиграть войну с меньшими культурными потерями. Правители, уличенные подобными Осадчими в такой бережливости, быстро утратили бы популярность, а то и предстали прямыми изменниками: «Для кого бережете?!» Боюсь, и в этом случае, как и во многих других, власть всего лишь выполняла волю наиболее страстной части народа — той, на которую власть и опиралась.

Чуть ли не впервые в нашей военной прозе в «Моем лейтенанте» прозвучал и мотив «потерянного поколения» — зеркально по отношению к Ремарку. Как жить дальше, если война оказалась кровавой бессмыслицей, спрашивают себя герои Ремарка. Как жить дальше, если главное дело жизни уже исполнено? — спрашивает себя герой Гранина. И начинает работать спустя рукава, пускаться в загулы, не проявляя шепетильности в выборе собутыльников и партнерш, так что верно ждавшая его жена в конце концов упрекает его, что он и с нею обращается, как с армейской б... И все-таки ее терпение и преданность берут верх — недаром она так верила в любовь, как другие верят в Бога.

Книга прежде всего остроисповедальна, но Гранин не был бы Граниным, если бы его голос не был еще и эхом русского народа. Его простодушный доверчивый герой проносит пророческие слова: «Мы будем вновь и вновь возвращаться к моему времени, оно было красивым и героическим».

И это после изображенных без всяких прикрас ужасов и безобразий...

Для истории грандиозность — грандиозность подвигов и грандиозность ужасов привлекательнее, чем умеренное и аккуратное процветание. Разумеется, я имею в виду не историю научную, озабоченную тем, как было «на самом деле» (если бы даже нам каким-то чудом сделались в точности известны поступки исторических личностей, для толкования их мотивов все равно сохранился бы полный произвол), — я имею в виду историю воодушевляющую, которая только и может сохраниться в общественной памяти. Поскольку главная функция человеческой психики — самооборона, выстраивание картины мира, в которой и личность, и народ предстают себе красивыми и значительными, то и воодушевляющая история может быть только мифологией.

Сейчас, однако, довольно влиятелен и запрос на противоположную мифологию, ставящую в центр общественного внимания не подвиги и победы, а жертвы и преступную бесчеловечность власти. Борьба этих мифологий развернута и в глубину веков. В воспоминаниях гомельского историка литературы Ивана Афанасьева Гранин дает довольно резкий отпор словам собеседника о жестокости, проявленной по отношению к первым строителям Петербурга:

— Что касается строительства Петербурга — все вранье, потому что раздобыть такое большое количество мастеров кузнечных дел, каменных дел, плотников, столяров и так далее было очень трудно. Их берегли. Их ценили. С ними возились. Меншиков очень заботился о них, потому что раздобыть их было крайне трудно. При строительстве Вер-

сая погибло шестнадцать тысяч человек. А сколько при строительстве Петербурга, мы даже не знаем. У нас нет данных. Но мы знаем, что были созданы аптекарские огороды, госпитали для работников. Судя по косвенным данным, в общем, заботились о людях.

— В таком случае почему эти мифы столь живучи и выдаются за историческую правду? Как вы полагаете?

— У серьезных историков вы этого не найдете. Это все журналистика.

(Кстати, о журналистике: «Журналистики у нас нет никакой, потому что российская журналистика сегодня — это заказ и его выполнение». «Д. А. Гранин и молодежь: университетские тексты».)

Но в «Последней тетради» патриарх отнюдь не лакировал современную историю: «Мы не хотим осмыслить цену Победы. Чудовищная, невыносимая цена... Все наши монументы, Триумфальные ворота выглядели бы ничтожными перед полями, заваленными трупами»; «Если забыть, что было со страной, что творилось с людьми — значит утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной...».

Однако миф гранинского лейтенанта, я думаю, окажется сильнее, потому что люди хотят жить в красивом, воодушевляющем мире, и с этим поделать ничего нельзя. Люди готовы принять историю как трагедию, но — возвышающую, а не унижающую.

К счастью, мифологическая история создается лишь для того, чтобы примириться с непоправимым, творить новые ужасы она может подтолкнуть разве что совершенных дураков. И те бахвалы, которые возглашают: «Если надо, повторим», в глубине души вполне убеждены, что им повторять ничего не придется.

И все-таки Гранин умел слышать оба эти запроса — и запрос на воодушевление, и запрос на горькую правду.

Возможно, он в какой-то мере слышал их всегда, но в его советских романах столкновение этих мифологий расслышать невозможно. Он всю жизнь духовно рос и возвысился до Гранина последних лет уже ближе к финишу своей поистине марафонской биографии. А если бы он начал растрчивать свою душу на конфликты с властью на каких-то промежуточных этапах, его рост на этом бы и прекратился: политика требует не вечного поиска и усложнения истины, а вдалбливания односторонних банальностей. Но Гранин как истинный марафонец мудро распределил силы на целый век. И финишировал еще более мощно, чем стартовал.

РЕЦЕНЗИИ

НЕТ, ЖИТЬ И ПОБЕЖДАТЬ!

Кантор В. На краю небытия: Философические повести и эссе. М.; СПб.: ЦГУ Принт, 2018. — 352 с.

Новая книга известного философа и прозаика Владимира Кантора удивляет и даже шокирует. Ведь основная ее тема — в духе древнего Орфея — это путешествие за пределы земного бытия, мысленное или даже «настоящее». Отсюда и сквозная линия этого сборника, куда вошли жемчужина нашей новеллистики «Смерть пенсионера», повести «Случайные заботы и смерть» и «Запах мысли», философские статьи, эссе и киносценарий: *размышление о смерти*.

«Смерть — это закон всей истории и всегдашний страх человека. Как правило, религия успокаивала людей, обещая потустороннюю жизнь. Но именно жизнь... Жизнь —